

Андрей ТАВРОВ

*Андрей Тавров родился в Ростове-на-Дону в 1948 году. В 1971 году окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии. Работает на «Радио России». Автор двенадцати сборников стихов, прозы, статей и эссе. Участник антологий «Строфы века» и «Антология русского верлибра». Стихи и рассказы печатались в журналах «Новая Юность», «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Воздух», «Комментарии», «Арион» и др. Главный редактор журнала «Гвидеон». Член Союза писателей Москвы (с 1996 года), член Международной федерации русских писателей (МФРП), член Международного Пен-Клуба (с 2010 года). Лауреат большой премии «Московский наблюдатель». В «Волге» публикуется с 2013 года.*

ЛЕТЧИК

*Поэма*

*Джону Колтрейну,  
поддержавшему меня в эпоху отчаяния,  
Лене Эберле, мастеру пространств и полетов,  
а также сочинской шантрапе 60-х гг.  
прошлого, разумеется, века.*

Если вы захотите отследить первопричину любого явления,  
вам придется вернуться к самому началу творения.  
Э. Т.

1

самолет садился на поле за речкой, и все думали, что он не машет крыльями, а я видела, как машет, и видела, как в нем сидит авиатор, словно яйцо внутри птицы с бьющимся сердцем, только в этот раз он сам и был этим сердцем. Птица машет крыльями, как и человек, от боли и от радости, и если радость часто снаружи, то у боли вид как у венка, надетого на голову, и еще она делает человека безруким.

Летают только безрукие, я это видела в своем сне. Как только ты понял, что безрук, у тебя из сердца бежит теплый ручеек, и ты знаешь, что уже никого не обнимешь, кроме единственного неба и единственной девушки, которую если только обнимешь, то сразу умрешь и будешь жить в ней как яйцо. А она будет целовать тебя васильками губ и навсегда видеть тебя самым красивым.

Когда пропадают руки, то грудь заостряется, и тебе приходится открывать дверь лбом или подбородком, и от этого в тебе растет полет. Полет это новый человек, не похожий ни на тебя, ни на птицу, он ни на что из виденного не похож, может быть, немного на рыбу с человеческими глазами, и еще на то, как кто-то танцует, а потом, валяясь на земле в хлопьях собственной кровавой слюны, быстро-быстро сучит ногами, и тогда рыба делается снами, фигурами и буквами, и одна из этих фигур – это слова полета, а вторая тот, кто узнал эти слова полета.

Самолет заходил от моря, он был как этажерка и махал крыльями. На хвосте у него висел красный шар солнца, а на крыльях покоилось синее потемневшее море. Никто не видел голову летчика в очках, а я видела ее как золотое наклонное яйцо, и оно то

приближалось и смотрело мне на живот, то удалялось и сливалось с красным шаром на хвосте аппарата.

А я стояла на мосту через речку, который дрожал под моими ногами, и я стояла среди подземного и среди подводного воздуха. В подземном воздухе тоже есть самолеты, но мало кто их видел, хотя всякий летал в глубоком сне. А в подводном воздухе живет полет с человеческими глазами.

У меня зонтик от солнца над головой, на мне новое платье, я иду в гости на виллу «Вера», выстроенную среди сосновой рощи на склоне горы три года назад, в 1912 году. Сегодня там бал и играет оркестр из Петрограда. Меня зовут Ефросинья, и здесь всегда пахнет хвоей, ах ваши синие глаза, зеленые от солнца и хвои, сказал мне тут кто-то.

## 2

если ты видишь грека на улице, то это не Лаокоон, три сердца которого стиснуты одной змеобразной линией – одно его и два – его сыновей, и каждое бьется в своем ритме: и сколько же тут планет поработало, сколько трав, сколько ударов мужских чресл в женские, чтобы возникли они на свет и теперь объединились силовой линией рока! У змей много рук, которые прячутся в изгибы, и они ими хватают города, и растения, и звезды, а потом все это приносят человеку, чтобы начать его душисть.

Я видела эту скульптурную группу в Ватиканском музее, который мы осматривали всей семьей два года назад.

Греки в здешних местах маленькие и оборванные, и когда едешь на линейке в сторону Хосты, встречаешь их десятками в пестрых старых одеждах, они грязные, вокруг них летают летучие мыши, такие же темные и перепончатые, а греки продают виноградное вино из высоких стаканов.

Сергей Николаевич Худеков, хозяин дачи «Надежда», основатель здешнего великолепного сада и мой родственник, говорил про летучих мышей, что они летают, взявшись за руки. У них ведь еще что-то осталось от рук, и поэтому они могут летать только ночью, хватаясь за темноту и женские прически, выдирая их из визга, из шляп и из тела целыми локонами, чтобы женщина вспоминала про себя все то, что ей удалось про себя забыть и что родители спрятали в шкаф с другими живыми скелетами, которые иногда ходят в наших потемках и говорят юмка, не знаю, где я про это слышала.

У тех, кто вспоминает, а такие среди подвергшихся нападению летучих мышей действительно есть, глаза становятся синими как море, но не обычное, а такое, что их мужьям хочется его выпить, а сама жена или дочь ходит всю ночь по стеклянной комнате, и ее волосы, ставшие тяжелыми и плывущими над ней, как в воде, постепенно поднимают ее ввысь и даже, если она захочет, могут поднять к Луне, но мало у кого хватает на это храбрости. А те, кто пытались и поднялись к бледному спутнику земли, теперь проходят сквозь стены и говорят странные слова, а мужчины рядом с ними чувствуют, как бьется лодка о причал, даже если она находится в нескольких километрах от них, где-то у маяка или, например, в Лоо. Она может быть пустой или полной, эта лодка. Она может быть залита лунным светом или стоять в тени. Но в ней всегда кто-то есть, кто не думает и смотрит в море с его темнотой и серебряной неуследимой игрой зыби в дробящейся и яркой лунной дорожке.

Часа два мы веселимся и танцуем под музыку оркестра, приехавшего сюда, на виллу «Вера» из Петрограда. Народу много, работает благотворительный буфет с виноградом, шампанским и шоколадом, доход от которого будет потрачен на зимнее обмундирование солдатам, хотя пока что еще лето. Странно знать, что где-то сейчас воюют.

– А вот и наш герой, – говорит Сергей Николаевич, – просим-просим.

Я смотрю на молодого человека в светлом костюме и вижу, как машет крыльями, заходя на посадку с моря, самолет, а в нем наклонилось лицо в летных очках. Теперь оно

внезапно приблизилось из небесного далека, и принадлежит не безымянному пилоту, а гостю виллы «Веры», юноше с короткими усиками, высоким лбом и серыми глазами.

– Николай Федорович, авиатор, – представляет молодого человека Сергей Николаевич.

3

пока на экране специально затемненной комнаты идут волшебные картины с фотографиями греческих развалин и редких растений, например, «лакового дерева смерти», которые показывает при помощи волшебного фонаря почетный гость сегодняшнего бала Сергей Николаевич, человек искусства и пропагандист стиля модерн, Ефросинья косится на Николая Федоровича, присевшего на стул рядом с ней, на его белый пиджак.

–...Аэронавт, впрочем, будет точней, – говорит Николай Федорович, – да, точней.

Но, разве... – говорит Ефросинья. – Разве так называют не тех, кто летает на цепелинах?

– Да-да, конечно. Обычно аэронавтами называют тех, кто летает на аппаратах легче воздуха, но это не всегда правильно.

– А как правильно? – говорит Ефросинья, думая, что белое это цвет ангелов и призраков и что Марию Стюарт хоронили в белом траурном платье, кем же, каким существом вышел из этого белого сюда Николай Федорович, и кто он – Мария Стюарт, ангел или призрак? Еще есть Белый, поэт, она была на его выступлении в Москве, он летал и танцевал почти что по воздуху, – может, Николай Федорович тоже поэт и танцует по воздуху при помощи стихов? Если вы в белом пиджаке и умеете летать... и все же, кто вы, Николай Федорович?

А еще – думает Ефросинья – при помощи стихов в воздухе танцует сирень – лиловая, тяжелая, как голубь в руке, мокрая и вся в лицах, которые перебегают от одного соцветия к другому, от тяжелых лиловых подков с одной ветви – к пятнам и глазам на другой ветви, и, пока их шевелит ветер, стряхивая капли, каждая сверкнет как алмаз, слетая к земле.

– А как же? – говорит Ефросинья, – как же сказать правильно? Чем аэронавт отличается от авиатора?

– Авиатор – это как шофер, – говорит Николай Федорович, – а аэронавт – как птица, хоть в авиаторе и живет птичий корень – avis. Но летает на самом деле «внутренняя птица», а не внешняя с мотором и бензином. А в аэронавтике она осталась.

– Это потому что Андрей Белый – аэронавт, и еще сирень – аэронавт, – говорит Ефросинья.

– У шофера ведь есть маршрут, цель и мотор.

– А у вас разве нет?

– Это второстепенное, – птица летает не по закону, а по истине. Маршрут, цель и сила полета – для нее одно и то же.

– Вы так думаете? – она задумывается, тихо смеясь и ощущая холодок на спине, будто туда плеснули нарзана, – да! да! я тоже это знаю. Птицы летают нипочему, как сирень.

– Да, – говорит он. – Нипочему. И аэронавт, и авиатор тоже должны летать как птицы, прежде всего по истине, а не по науке, не по законам аэродинамики. Настоящий пилот – тот, чей самолет поднимает и держит в воздухе не один лишь технический расчет, а интуиция, которую он чувствует в сердце. Так примерно летают в сновидениях и так же точно – утки, майские жуки и чайки. Отто Либиенталь сначала именно так летал. Если бы он летал и дальше так, то не разбился бы и построил еще много прекрасных летательных аппаратов. Но со временем он, увы, стал все больше полагаться на конструкцию и все меньше на собственную интуицию. Это была ошибка. Впрочем, иногда конструкция и

интуиция сочетаются. Знаете, у него дома жили ручные аисты. Для того, чтобы перенимать у них полет.

– Разве полет можно перенять? – спрашивает она.

– Даже грипп можно перенять, – говорит он, улыбаясь. – Даже вес. Даже отсутствие веса. – Тут его глаза снова делаются серьезными. – Отсутствие веса. Как, например, у вас.

Он смотрит на нее внимательно, словно о чем-то спрашивая. В этом неверном свете может даже показаться, что он как будто бы умоляет ее расслышать что-то для него неизмеримо важное и нужное – так чудно легли на его лицо тени, – расслышать и понять. Внезапно он улыбается, легко и беспечно.

– А еще человека-птицу нельзя убить, – говорит он.

– Это почему же?

Он достает из кармана портсигар, не глядя выбирает тонкую папиросу, шелкает крышкой. Потом смотрит на Ефросинью серыми глазами, в которых она видит небо и себя в небе, и уверенно говорит: это противоречило бы законам жизни.

На экране с помощью волшебного фонаря показывают бога Аполлона и англичан, пакующих ящики с ворованными греческими скульптурами, – белый, как скорлупа, экран с такой же белой статуей, похожей на прореху в изображении, но Ефросинья туда не смотрит.

Она выходит в зал.

В зале и в саду играет музыка и всюю работают буфеты с шампанским и лимонадом.

Лица танцующих она видит словно бы впервые.

И все остальное – цветы на столе, влажный блеск платья соседки, золотую искру на хрустале фужера, свои белые руки – Ефросинья тоже видит словно бы впервые. Николай Федорович идет за ней следом.

– Если бы я, – тихо говорит молодой человек, – то есть если бы я... вдруг решил и осмелился... мне сейчас сказали, что тут, на Ривьере, сегодня танцы... то есть настоящий аргентинский оркестр... одним словом, под открытым небом... на берегу моря. Если бы я... внезапно осмелился... если бы вы и я... если бы мы... –

– Едем, – неожиданно для себя говорит она, – едем!

4

вилла «Вера» такой трехэтажный дом с верандой и башенкой (сами можете проверить), к которому приближаясь, попадаешь в дождь и в запах сосновой хвои, а удаляясь, чувствуешь дом спиной зажженным до третьего этажа электрическими огнями и спиной же слышишь, как там поют ангельские голоса детей, и чем дальше уходишь в сторону моря и маяка, тем эти голоса становятся тише. Но эта тишина не такая, как нарастание, а потом затухание музыки, когда минуешь, например, консерваторию. Там голоса слабеют и уходят, а когда отдаляешься от виллы «Веры», то хор становится тише, но при этом он становится громче, как будто он поменял объем акустики и теперь звучит в вашем собственном зале, который делается все меньше по мере отдаления от виллы, а голоса в нем все тише, а поэтому все яснее и громче, и там, где они должны бы совсем затухнуть и слиться с тишиной, они, напротив, начинают звучать так, как никогда не звучал ни один голос. Они поют так, как будто бы вилла «Вера» это родник, из которого течет ручей, и когда вы идете к морю, где маяк, то серебряным своим концом ручей упирается вам в затылок, и вы, удаляясь, раскручиваете его как какой-то рулон фольги, а не воду и не пение. Потому что это именно вы расчищаете каждым шагом ему русло при помощи своей головы с щекотным затылком, куда он все время тычется, и от этого на затылке растет костер, и в голове все становится странно и зыбко, как будто вам сильно

досталось на футболе, и теперь у вас даже в глазах двоится, а ноги идут сами по себе, как будто чувствуют свой собственный путь.

## 5

и там за мостом парк и огромный отель в электрическом свете, а на берегу моря площадка с террасой и павильонами, где лимонад и шампанское, запах цветов. Море наваливается на грудь как медведь, черное, бархатное, с тихим далеким огоньком у горизонта, и пока спускаешься к танцам, вокруг вразнобой пульсируют зелеными огоньками летящие светлячки. В этом есть невозможность, чтоб такая огромная люстра держалась невесть на чем в черной воздушной прорве, при этом тихо мерцая и медленно крутясь вокруг своей невидимой оси.

Светляк – это азбука Морзе. Вот летит он, мигая, и передает сообщение. Мигнул и исчез, как растворился в чернилах, и вновь мигнул – от небытия к небытию, или лучше сказать от вспышки света к такой же, что он носит не над затылком, как редкие светлые люди, а в брюшке.

Аргентинское танго это разрез книзу платья и непристойный шаг. Он, танцую, немного ее выше, сухое лицо, а она смотрит снизу. Смотрит снизу Гертруда на сына вместо Офелии, запудренным лицом, не глаза читая, а мысли, а облака его чувств, в которые белый лик ее хочет, ужасаясь и скорбя, попасть как в грозу, где бьют молнии, летит самолет, пахнет бензином и кожей от перчаток, а руки сжали штурвал.

Мать это место, где все замыкается, вот почему все остальные женщины всегда замыкаются и размыкаются в мать. Это если перекрутить на пол-оборота полосу бумаги вокруг оси и замкнуть концы, то идешь к возлюбленной, а оказываешься у матери. Идешь дальше, а она уж не мать, а возлюбленная, и ты уж не ты, а младенец, вопящий на ковер с узорами, что висит над кроватью, а Млечный путь течет за окном, и тебе только и надо, что этого млека и чаши, из которой оно пролилось. Вот ты делаешь широкий шаг – к ней и почти сквозь нее, как не принято в обществе, а она – широкий шаг для тебя, от тебя, и ты держишь ее в объятиях, а она смотрит на тебя снизу, запрокинув лицо, размыкаясь широким шагом в разрезе платья до талии и снова смыкаясь.

И хоть на дворе военное время, а Мери Пикфорд и Мистенгет все поменяли в фасонах и модах, но танго взрывалось настоящим бунтом неслыханных жестов, непорочным и ясным бесстыдством у всех на глазах. Велеречивая птичья бумага начала века рванулась и прорвалась, и попытки множества алых губ склеить разрыв были тщетны, он больше не склеивался, за исключением цельного вязаного узора чулок, и дыра с расходящимися чернильными буквами, которую образует будущее в настоящем, зияла все шире. Когда губ и слюны слишком много – ничего уж не склеить, можно только расширить отверстие, где танцует сейчас человек без имени и его мать-возлюбленная, в красном, сверкая ногой, а Млечный путь льется ей на лицо.

И бьет фонтан, сверкая богинями, голыми фавнами и Дионисом, извергающим вкривь изо рта разноцветную воду, кружатся вокруг под звуки оркестра гибкие, юные пары в панбархате, шелке и ситцах, мелькая бледными лицами с неправдоподобно расширенными глазами, продолжая короткий и страшный сезон 1915 года.

У моря внизу, как пышный край занавески, шипит и белеет кайма прибой, они промочили ноги, черпая воду в ладони, наступая и убегая от волн, как только что в танго. На языке вода свежа, солоня, по вкусу похожа на кровь и на пот, но никто ведь не знает, из чего сделана кровь, из чего рождается слово в зыбкой глуби между красных губ, что кому суждено из здешних юных, влюбленных, взлетевших, ушедших в далекие дали, оставив на берегу –

– не только кровь от порезанной ракушкой ноги, но и – куклу-куколку, похожую на пропавшую на ваших глазах девушку с русыми волосами, в красном платье, исчезнувшую

вовсе на миг, да так быстро, что не заметить... оставив взамен – непонятную куклу. Но не навсегда пропала она, как и любой летящий тут же светляк, – а чтоб выпорхнуть вновь из куклы-куколки – девушкой с русыми же волосами, в красном же платье, с пораненной ракушкой ногой, все, кажется, той же, но только вот имя, имя теперь у нее – другое.

Словно темная промокашка, пропитано имя ее теперь тяжелой струйкой подземной реки, кровью диких высот, жутью дыханий и шепотов.

Гулкое, страшное имя! Вязкое, двухконечное, словно бы смерть!

Чтоб такое произошло, должны вы быть по правде непорочно-бесстыдной, безумной и ясной, такой почти что, как грозовой этот воздух – влажный, пробитый озоном и йодом, полетом мотылька да запахом мокрых заборов и крыш, да черных персидских цветков – роз, солдат неубитых.

Из лунного веса, из черного крика зарезанного петуха сделан воздух теперь – нигде не найти больше такого воздуха, как только лишь здесь, на примолкшем побережье, среди остановившихся чудных огней, с береговыми сетями, безмерным и бережным гулом, водяными крысами и бледным утренним рыбаком утопленником.

Главное тут – выдержать, скопить в груди эту душную, грозовую, с электрической искрой, ветром и кузнечиками, ставнями и газонами, кустами и белой магнолией – силу коленчатого разрыва, русла для рукопашной стремительной вспышки, не дать мощи смерти иссякнуть напрасно, бесследно пропасть. Но выстоять, накопить ее в хрупком и замершем теле, словно бы вовсе нездешнем.

Непорочным лишь девам дается.

Вращается ветер, налетает порывом, дребезжит на даче стекло наверху и кажется, вот уже хлынет, проломится, грянет, кажется, вот уж пора и невмочь, вот уж не выдержать боле, не найти под ногой знакомой тропинки, руке не ощупать привычно перил, и душно как-то и тяжело, и томно, и вот – разрыв тут и вспышка, как шелк разодрали со свистом, в котором...

–...мир мгновенный, неузнаваемый, с обретенной белой тропинкой, бросится слепо к глазам, осветит клен вдали на горе, губы светом ожжет, сотрясет все вокруг миллионовольтным ударом. И птицы шарахнутся в гнездах, захолонут реки в руслах и обомлеет сердце в белой девичьей груди. Бьет свет львиноголовой, когтистый, крученный, бьет прямо в сердце тебе и там... там остается. И ежели сдюжишь и вынесешь – быть твоей жизни другой.

Читали Тургенева, слушали гимназических педагогов, бормотали Пушкина, любили Кропоткина, зубрили латынь и спряжения, писали в альбомах, влюблялись, награждаемы были медалями... – и все для того лишь, чтоб ночью однажды впустить в свое сердце всю мощь грозового удара, и там удержать. Ибо мощь измерима, а сердце безмерно.

...

– Угу, – говорит Ефросинья. Вот она и вздохнула, вот снова ударил пульс и пошел колотить время жизни, вот заново все началось, а что началось? Да все началось. – А ваш летательный аппарат... Я хотела просить вас, Николай Федорович, просить показать, но не знаю, удобно ли это...

– Аппарат? Ну, конечно! Конечно же! Едем прямо сейчас! – горячо говорит Николай Федорович. – Конечно же, едем! Тут близко!

6

внутри каждого нетопыря есть черный конь, которого никто не придумал, и, пока нетопырь летит по своим зигзагам, черный конь замер на одном месте, а внутри сидят солдаты с противогазами, и вокруг них смрад и лужи, потому что они там уже третий день, пока их не внесут во вражеский город, и тогда они смогут на свободе облегчаться, убивать и насиловать. А пока они могут лишь следить за зигзагами черного складчатого

существа, которое режет серую ночь на клочки черного бархата в оврагах и ущельях, и завидовать его мощи и скорости: той – они знают – что ведет их к победе.

Они ехали на извозчике по выложенной булыжником улице с редкими фонарями, и небо смотрело на них огромной опрокинувшейся сковородой, особенно темной и мерцающей вдали от фонарей, на берегу речки, которая тихо журчала в заливающимся лягушачьем хоре. Нетопыри месили небо, пропадая в его тесте, но все равно было видно, что звезды это задумавшееся лицо.

– Aeronaute? – говорит Ефросинья, – pilote?

– По-французски тоже мало смысла, – говорит он в ответ, – меньше даже, чем по-английски.

– А что по-английски?

– Flier, aerman, skuman, ну, и авиатор, конечно.

– Skuman, – говорит она, подумав. – Красиво, но только немного театрально.

– Я летел через Туапсе, ночью, ориентируясь по линии прибора, чтобы не сбиться. Повидаться с мамой. Она живет здесь, за Верещагинским ручьем, сразу за пансионатом госпожи Фронштейн «Светлана». Мне через два дня на фронт.

– Как на фронт?

– Да вот так, – смеется Николай Федорович, – на войне нужны летчики.

Он говорит, небо надо согреть, все понимают, кроме людей, олень согревает его своим полукостром-полудеревом на голове, подсолнухи – распускаясь, а светляки – мигая, и даже этот нетопырь с ромбом внутри тоже его согревает, и люди могут. – А чем люди, говорит она, могут? – Великодушием, которое на языке человека и есть его человеческое тело, а слова и одежда это буквы, которыми тело человека говорит, но само оно – слово, согревающее небо, и если небо согреть, то войн больше не будет, люди перестанут убивать друг друга и животных, читали графа Толстого?

– Васильки, говорит она, – согревают небо, и, может, каждый василек это один неубитый солдат. Так почему же человек не делается лучше?.. Почему?

– Знаете, на что вы похожи? – говорит он. – Вы... вы – это как летишь в тумане вслепую, потеряв ориентиры, весь в напряжении, и только и ждешь, что удара о землю или о столб. И тут, как окно распахнуть, бах! – вылетаешь из мглы и открывается враз все ночное звездное небо, и сразу узнаешь созвездия, и раньше даже, чем их самих – их имена, потому что они как будто уже вошли в позвоночник, расставили заново тело, весь самолет, стали главной деталью его – небом. Ты мог разбиться, но не случилось, потому что созвездия ждали, переговаривались, закручивали водовороты света, и глаз теперь смотрит на них, а они на него, читая друг друга. Я думаю иногда, что позвоночники динозавров и птеродактилей – это те формы, в которых по ряду причин задержались звезды, потому что они до сих пор и не рассыпались, до сих пор их находят. Ведь есть формы, где они могут задержаться, прошептывая имена, и есть формы, где они задержаться не могут.

Он продолжал:

– Вы – это как идешь в незнакомом городе, никого там не зная, ни улиц, ни жителей, ни языка, и вдруг в разноликой чужой толпе встречаешь отца. И понимаешь, что это отец, еще даже не разглядев, потому что... узнаешь раньше, чем видишь. Я больше скажу, – голос его здесь дрогнул, – узнавание – может, саму реальность и создает, и творит. Откуда я знаю, были вы мире, пока я вас не узнал, или нет? Потому что никто вас так, как я, не сумеет узнать, не сможет! А значит, вас до меня не было... вовсе. Какая-то тень, вот и все.

– Я вовсе не тень, – смеется она. – Это даже как-то обидно. Вот потрогайте. Вот!

– Нет, не тень, – говорит он, касаясь плеча. – Нет, не тень.

Извозчик въезжает на мост, на котором экипаж сильно кренится – на миг видны серебряные перекаты мелкой реки, темные камни, выступившие из приглушенного

блеска; съехали – дальше дорога, слабо светясь, вьется меж молодыми платанами с латунной листвой в лунном свете; вот повернула, открыв панораму далеких гор, цепь белых вершин под луной, словно парящих на темно-синем воздухе, еще поворот – перед ними плоское поле, с краю бегут в сторону моря редкие огоньки, стой, извозчик!

– Приехали, – говорит Николай Федорович. – Вон он, стоит.

– Кто стоит? – спрашивает она.

– Мой аэроплан. Вон же, под фонарем.

7

самолет это спутанные волосы и родники. В нем больше волос, неба и родников, чем всего остального. Волосы и родники есть у каждого человека, но люди их теряют, потому что им их трудно удерживать. Самолет возникает, когда пилот направляет свое внимание между блуждающих родников и волос – там между ними есть ложбина, которую пилот приближает к сердцу и ребрам и потом переваливается через сердце и ребра, словно через борт лодки, и падает в эту ложбину, а потом в воздушный океан, и тут начинается его полет. Настоящий полет это когда ты состоишь из мыла, а воздух из воды, как все океаны. И когда ты ведешь свой аэроплан, тело начинает смыливаться, начиная с губ и пальцев. Потом смыливаются ноги и живот, и лоб. И тогда понимаешь про то, как одна субстанция может перейти в другую, при этом по видимости все будет оставаться как есть. Но ты, ставший ничем и воздушным океаном, теперь летишь водой в воде, и для этого даже можно больше ничего не делать, а только быть кровью в крови, воздухом в воздухе и родником в роднике.

Первые летчицы не пользовались рулями управления, им было достаточно расчесывать волосы, когда они летели, ощущая их как настоящие. Мало кто ощущает волосы и родники как настоящие, все думают, что это так себе, картинка, а если летчица расчесывает волосы, то самолет начинает делать такие вещи, которые никто делать не умеет.

Жанна Батэн, учительница музыки из Новой Зеландии, которую называли Гретой Гарбо небес, впервые пролетела из Англии в Австралию, расчесывая волосы и кивая на восход солнца светлой головой.

Рут Элдер летела между родников самолета, а он следовал за ней до тех пор, пока она не оказалась вместе с ним в Голливуде, снимаясь как воздушная гимнастка. Она стояла на крыле над бездной и не падала, потому что падать было некуда – ведь она уже была между небом и небом. Пропать не падает в пропасть, а волосы в волосы.

Амели Эрхард из Англии засыпала от усталости в самолете из волос и родников над Атлантикой, но не разбилась и стала первой женщиной в истории авиации, пересекшей атлантический океан по воздуху. Она также первой отправилась в кругосветный полет, прервавшийся не из-за волос и родников, а из-за пьяницы-штурмана.

Самолеты не предают, предают люди. Но они этого не хотят.

8

аппарат стоял, освещенный прожектором и отбрасывал длинную тень на поле. Колеса со спицами блестели от сильного электрического света. Ефросинья подошла к аппарату и потрогала его за крыло. Он стоял в тросах и переборках, поблескивая и мерцая, и его тихий фюзеляж был похож на воздушный рулон, в который завернуто небо. Оно было гулкое и легкое, но, свернутое, оно было здесь сразу всё, во всей своей ширине и высоте, и в нем были все дали и ориентировки, дожди и аэродромы, и звезды, и ночные дороги внизу под крылом, по которым сверяется курс, – было все, все из чего состоит твое небо – небо без времени и небо из будущего, если оно тебя ждет, а оно тебя ждет. Будущее это как дверная ручка или как человек, про которых думают, что знают, а кто их

узнал? кто их обнял, кто их согрел? Кто понял, что в них вложено, кто увидел в них свое же лицо, но ушедшим от времени, когда стало оно однажды от узнавания – словно бы высь неба, словно бы край земли, словно бы пульс рыбы?

Она обошла самолет кругом. Дерево плоскостей и спицы колес были влажными от росы и отсвечивали как серебряная обертка. Над головами плыла луна, зацепившись за сизое облачко, и казалось, что поле тоже плывет вместе с самолетом, и Ефросиньей, и прожектором, и часовым с длинным ружьем.

– Ах! – сказала Ефросинья. – Как он похож на дерево! Дерево с заводными птицами на ветках.

– Хотите полетать? Завтра, с утра?

– Да, – сказала она. – Еще бы!

9

пока цеппелины не бомбили Германию, дирижабль был собой. Он приближался к тому, к чему хотят приблизиться люди, но не могут. Он приближался к той форме, попав в которую меняешь все, включая себя и небо, бывшее раньше просто голубым, черным, в птицах и вихрях, а теперь заметно, что оно и в других существах, от которых расходятся круглые и овальные вибрации, полные золота. Но золото это не то, которое взвешивают на весах, а то, которое кормит младенцев рыси, лошади и человека. Оно еще заходит как ложка в рот, когда человек лежит на лесах и пишет по сырой штукатурке руку Бога и как она приближается и никак не приблизится к руке Адама. Дирижабль находится в том пространстве, где рука Бога тянется к руке Адама, но еще не дотянулась, и пространство дирижабля делает так, чтобы эти руки никогда не соединились снаружи, но перетекали бы друг в друга внутри – как реки, и этим внутренним пространством дирижабль поднимается в воздух и дышит обеими своими половинами – доброй и злой. Но когда половины соединяются в дирижабле, то идут в его центр и там становятся одним, в котором они могут как люди поплакать и спеть свою песню, и песня не будет напрасной, а слезы лишними.

Дирижабль приближался к своей форме, которую искал Фауст и почти нашел граф Цеппелин, а также ее искали те, кто был уверен, что Грааль это чаша, попавшая на Тайную Вечерю и сделанная по форме груди Елены прекрасной. Но в том поиске главное было все же – внутреннее пространство, уходящее в человеке в его никуда, словно бы внутрь его грудной ракушки, и возвращающееся с другой невидимой стороны, обратной всему видимому, и от этого-то и скакали кони, бились сердца и звучала странная мелодия, которую пели дамы вослед песням Персифаля, короля Артура и Александра Блока.

10

первые дирижабли, безрукие, как все лучшее, что летает, ощупывали воздух внутри себя другими руками: – зашедшими внутрь руками Бога и Адама, которые теперь уже почти никогда не видны, но именно они держали тех, кто летел на аппарате, да и сам аппарат тоже.

И мы с тобой поднялись в воздух внутри, и ты сияла как большая рыба в подводном солнце, когда мы кружили в сферическом центре, охваченные бережными прикосновениями невидимых перстов, и ты смеялась, а мы с каждым вдохом становились моложе, пока не стали, изменившись, двумя детьми зеленой горы, пронизанными языками пламени и солнца.

И когда твои волосы перетекли в меня, как реки со всем живым и мертвым, что было на их берегах когда-то: с окопами, полными убитых и раненных солдат, с расщепленными березами, выброшенными субмаринами, разбитыми артиллерийскими

орудиями и горящими танками; с единорогами, бродящими между них, вынюхивая тех, кому еще можно помочь, с ласточками, енотами и оленями, согревающими небо, – тогда я переломился как водопад в горе и, теряя опору, стал падать в тебя, а ты в меня – пропасть в пропасть, рыба в рыбу и чаша в чашу. Океан под аппаратом прогнулся и заговорил детским голосом, а Панагия Горгона дунула в свой парусный корабль, и он, загудев, сошел с иконы, как со стапеля, и поплыл рядом с нами.

Головастики в лужах пели песни, и ангелы невидимых небес в стальных распорках вторили им, и это было то же самое, как мама вытирает руки о фартук, а потом прижимает твою голову к себе и целует в затылок.

И все наши стада – губы, ноги, волосы, сердце, легкие, бедра, румянец на щеках, шакал на горе – разбрелись в этом объеме, чтобы узнать о себе новое, и потом вновь вернулись домой, чтоб не умирать никогда.

Габриэла, говорил я, я умру в смерть, и елка войдет в елку, и дева в деву, как фонарь в ночи входит в фонарь в ночи, и когда так случится, мы сдвинемся в *сдвиг*. В то, о чем знает каждый, – *сдвиг*, когда звезды сыплются как теплая мука на передник, и все собаки и люди воскреснут, и свеча зажжется, и моря отдадут своих мертвецов, и не растает снег на детской ладони, и смерти больше не будет, и плача тоже.

Но они начали бомбить города, бросая тонны взрывчатки из черного неба на городские кварталы, и люди пошли в стороны как живые костры, и животные ушли на острова.

11

– а вы были на фронте? – спрашивает она.

Они сидят в комнате на втором этаже домика авторемонтной мастерской, в окно светит далекий фонарь, а смутные горы с белыми вершинами отсюда видны даже лучше, словно придвинулись, но когда зажигается свет, то все пропадает.

– А вот и чай, еще горячий, – говорит Николай Федорович и берет из рук сонного солдата поднос с чашками и печеньем. – Нет, – говорит он, ставя поднос на стол, – на фронте я не был, только в летной школе.

– Говорят, там страшно, на фронте, – она берет чашку и отпивает глоток. Чай приятно согревает ее – южные ночи холодные. – Несем большие потери.

– Эта война обернется трагедией, – говорит он. – Орудия убийства стали совершеннее – танки, скорострельное оружие, отравляющие газы, бронепоезда, крупнокалиберные орудия, самолеты, подводные лодки... Что может противопоставить этому хрупкая человеческая грудь?

– Но ведь техника не сама же стреляет, – говорит она, – все это можно и нужно было предотвратить.

– Да, – говорит он, – конечно, конечно...

– Вас ведь там могут убить, – говорит Ефросинья.

Он снисходительно улыбается.

– В самолет трудно попасть, летит слишком быстро и на большой высоте. Самые значительные потери среди пехоты. А господин Худеков, кем вам доводится?

– Я ему внучатая племянница, – говорит Ефросинья, – с ним весело, он все знает о театрах, актерах и балеринах. Он пишет книги и пьесы. Они идут в Петрограде. У него есть газета. И еще он купил здесь землю по совету царя и собрал в свой сад деревья со всего мира, вы были в дендрарии?

– Обязательно схожу, – говорит Николай Федорович. – Вы знаете, – говорит он, зажигая папиросу, – ...позволите? – курите-курите! – я недавно прочитал одну статью господина Соловьева, философа, и она меня чрезвычайно заинтересовала.

– Какую же именно? Я люблю его книги и лекции, только они трудные, иногда не сразу доберешься до главного.

– Статья называется «О любви». В ней он пишет, развивая Платона, что цель любви – достижение с помощью этого чувства такого состояния любимого существа, при котором она (или он) никогда не умрет, обретет, благодаря любящему, бессмертие.

– Но как же?..

– Он выводит это из эволюционного развития всего живого на земле. Он считает, что эволюция задана Богом, который неприметно ведет историю Земли от примитивных форм жизни ко все более и более совершенным. Что сначала из ничего в мертвом космосе вспыхивает жизнь, потом она становится по существу бессмертной, воспроизводя себя во все новых и новых поколениях живых существ, все более совершенных, потом... Потом в среде высших неразумных животных возникает – разум. И эти разумные существа, т.е. мы с вами, они-то и должны решить задачу бессмертной жизни. Потому что именно к ней стремится эволюция.

Она видит, что Николай Федорович волнуется, на лбу его выступили капельки пота.

– Но не к такой бессмертной жизни стремится развитие, – говорит он, – чтобы поколения старших умирали, передав жизнь потомкам, а к такой, чтобы смерть, смертность совсем потеряла власть над людьми. И это возможно только через силу любви, причем, пишет философ, – любви между мужчиной и женщиной.

– Чтобы никогда не умирать? – говорит она.

– Чтобы никогда не умирать, – говорит он. – И вот я думаю, – продолжает Николай Федорович, – я думаю, что тогда, когда это произойдет, то будет совсем другое состояние жизни и даже тела. Это будет не просто арифметическое умножение телесной жизни без конца и без изменения состава тела, потому что это же...

– Это мука! – говорит она, – такое умножение – было бы просто мукой...

– Конечно, – он кивает головой, – о том свидетельствует история Кумской Сивиллы, изнемогшей от бесконечной жизни, а также судьба легендарного Агасфера... Но они жили во времени, а я думаю, что тот...

Тут он запнулся, словно не находя слов, но через минуту продолжил –

– ...тот, кто любит так, что время останавливается и вытесняется силой его любви, кто способен эту остановку времени удержать, тот сможет изменить состав тела и души – и своих собственных, и любимого человека.

– Но неужели же так еще никто не любил? – взволнованно говорит Ефросинья. – Неужели из стольких миллионов поколений – никто?

– Я не знаю, – говорит Николай Федорович. Он прищуривает глаза и трет двумя пальцами переносицу, словно бы снял очки, хотя очков он не носит, – не знаю. Может быть, и никто. Но кто-то же должен быть первым, если эволюция к тому подошла, а Высшее существо того желает. Тут важно верить. Вы вот, например, в это верите? – он вопросительно глядит на нее.

Ефросинья отчего-то смущается под его взглядом и отводит глаза. На щеках у нее горячий румянец. Она встает из-за стола и идет к окну. При свете электричества снежных гор в нем не видно, а видно комнату, но где-то там все равно они есть.

– Кто я такая, – говорит Ефросинья, стоя к нему спиной, – чтобы верить в это или не верить?

– Вы любовь моя, – говорит тихо и отчетливо Николай Федорович.

Теперь она видит горы, и их снежные вершины, и самолет, стоящий у прожектора, и часового рядом с ним. Видит, хотя в комнате никто не гасил света. Горячая волна дошла от живота до глаз, колыхнув веки с ресницами, и она чувствует, как быстро и сильно толкается в груди сердце. И еще она видит его, стоящего сзади и глядящего ей в затылок широко раскрытыми серыми глазами.

самолеты и жуки летают внутри ребенка-неба, а тот смотрит на них сонно и улыбается. И если он проснется и пойдет, то все они *попа*дают, вот почему сидит над расчетами инженер – ведь какая может быть надежда на несмышленное чадо, сидит и рассчитывает линии элеронов и мощь бензинового мотора, как же иначе; и потому другой инженер тоже склонился над чертежами пулемета, умеющего при помощи остроумного приспособления стрелять через пропеллер, в точности попадая в момент, в который пуля проскочит в цель, не задев раскрученной лопасти.

Но если ребенок продолжает спать, то истинный летчик в это время способен выделять на своей машине настоящие чудеса, черт знает какие штуки – летать, например, без бензина, или забраться в «кроличью нору», иную реальность, или же сам может стать ребенком, в котором летают другие самолеты, а среди них один (он сам) тоже спит, и в нем еще кружатся самолеты, и так далее. Ведь мир так и устроен – в оба конца нет ему предела, достаточно заглянуть в параллельные, что ли, зеркала или в глаза любимого человека, и такая даль на тебя оттуда пахнет, такая длиннота повеет, что тут-то невольно и задумаешься про ночные полеты над вогнутым морем, над линзой пространства-времени и над смыслом окружающих тебя людей, часов и предметов.

И в книге Иова, в которой сказано, что Творец, помимо множества сил, качеств и великих чудес, обладает еще одним неожиданным свойством, а именно – «дает песню в ночи» – это тоже про самолет, про ночное его движение в воздухе, когда весь ты объят темнотой и темным своим небесным телом и летишь, опираясь лишь на незыблемые огоньки звезд, до которых редкий кот дотянется когтем и не всякий долетит ястреб, но ты уже вложил в них свою забубенную чуткую голову, как в пасть дракону, отдался ночным течениям воздуха, которые Бог Яхве или мужицкий Иисус пустили вперемешку, и не как заблагорассудится, а словно бы воздушными дисками и водорослями, – и ты летишь и молчишь, и молчит самолет, и даже мотор молчит – и только тело твое поет про человека и его озера, его лаковое дерево смерти и ушко стальной иголки – вещи здешние, но пришедшие не отсюда, а оттуда, где вместо имени – пенье.

И ты поешь всем телом, и пока песнь твоя длится, сохранно небо с его полюсами и зодиаками, и не проснется в страхе младенец, и пролетит в пещеру летучая мышь, и ударит сердце, и раскроется цветок, и не заденет тебя стрела в ночи и не ужалит аспид в бензиновый страшный полдень.

Мне скажут, зачем столько отступлений, а я скажу, что так писали Пушкин и Гоголь – один сошел с ума и лежит в гробу без головы, а второй умер от жены и белого человека, но оба спели свои песни, которые дал им Творец, слегка качнув небо и целуя незаметно своих детей – безмятежных и ранимых певцов, чтоб было в суете и лихорадочном беге мира им время для ночных песен.

Мне скажут, никто такое читать не будет, а я скажу – и не надо, а надо быть среди сочинской шантрапы пятидесятых и увидеть однажды ночью из окна барака первый снег, как он покачивается, что ли, всей поляной в тишине и в светлом сумраке, будто бы большая белая черепаха, слишком широкий и нездешний, чтобы застыть без движения, пока сверху летят тихие белые звездочки и покрывают крыши из толя и листья пальм. И мы играли в «ножички» и в «расшибалочку», оглядывались с железнодорожной насыпи на женские пляжи, курили папиросы «Казбек» и прыгали в шторм с бетонной стенки вниз головой, ловя момент, когда взбухали, столкнувшись, две волны, набегающая и возвратная, перекрывая в брызгах и пене коричневые валуны в водорослях.

У многих не было отцов, а у брата с сестрой Лушиных не было и матери – воспитывала их тетка. Иногда к бараку подъезжал «ЗИМ» и поджидал, когда из него выйдет здешняя учительница в платье с пряжкой и на высоких каблуках. На праздники возле сараев накрывали столы и играл баян. Перед дракой с руки снимали часы, у кого они были, и прятали в карман – берегли, чтоб не разбить. Любовь к полетам была свойственна тому поколению, вот ведь что странно. Спасаясь от сумасшедшей «Кометы»

с пьяным капитаном, прыгали в воду – оставшиеся в шлюпке погибли, взлетевшие и нырнувшие в глубину – уцелели. В 13-14 лет большинство разошлось по колониям. Впрочем, сегодня из них никого уже нет в живых, да и как могло быть иначе – но от этого все же печально и странно на сердце, печально и странно... но мы-то с вами остались.

13

– мне пора домой, – говорит Ефросинья, – как же мы будем отсюда выбираться?

– На автомобиле, – говорит Николай Федорович, и мы, спустившись по деревянной лестнице (он держит меня под локоть), выходим во двор, где, действительно, стоит автомобиль. Перед нами идет солдат, который подавал нам чай, и светит фонарем. Его зовут Никита, и он не просто солдат, он механик, который обслуживает аэроплан Николая Федоровича. На улице похолодало, Никита поднимает брезентовый верх. Загораются фары, и я вижу словно бы срезанные светом яркие брюки и край белого пиджака. Потом Николай Федорович открывает дверцу, усаживает меня на переднее сиденье и захлопывает дверь. Я смотрю в лобовое стекло и вижу два ярких растянутых эллипса перед нами – это свет фар на траве. Николай Федорович садится за руль, запускает мотор, и мы едем.

– Я ведь даже не знаю, где вы живете, – говорит Николай Федорович, – он внимательно смотрит на дорогу, над которой косо метнулась летучая мышь.

– Рядом с виллой «Светлана», – говорю я. – После новой гостиницы. Надо проехать немного дальше, вверх по дороге.

– Надо же, – говорит он. – Мы с вами соседи, я как раз в этой гостинице остановился.

– А как же ваша мама?.. Не обиделась?

– Немного обиделась, – говорит он, – но она мне все прощает. Зато из моего номера на втором этаже виден маяк.

Он отвозит меня домой. Перед тем как проститься, он спрашивает: во сколько за вами заехать завтра? И я отвечаю – в девять. Лучи фар в развороте выхватывают на мгновение из темноты куст шиповника рядом с моим окном, он сияет так сильно, что у меня болят глаза, а воздухе стоит запах роз и бензина.

14

Николай Федорович сидит в кресле, не зажигая света, и смотрит в окошко. Отсюда, действительно, виден маяк, и когда его луч входит в комнату между распахнутых штор, все тени в ней оживают, она сдвигается с места и идет гулять вместе со стенами и кроватью, блеснувшей на миг чайной ложечкой в стакане, зеркалом, креслом и Николаем Федоровичем. И будто не одна тут комната – две, вложенные друг в друга, словно два короба, которые кто-то нашел у дороги и задвинул сгоряча на пробу один в другой, посмотреть, что из этого выйдет.

Первый прочно стоит – со стенами и с порогом, с зеркалом, косяками, тумбочкой и кроватью. С картинкой на стенке и с летчиком в кресле, обычное дело. Но гуляет второй от далекого маяка – шаткий, вздрагивающий, улетающий каждый миг бог знает куда. Как растянул кто гармошку из света и тени, и ну наигрывать свои бесшумные воровские песни, разрывая тихо мехи направо-налево, туда и сюда, и вбок и наверх. Авось сыграет он этой шаткой гармонью такую песню, такую папиросную выстрадает да выпьет он мечту и коробку, слово такое скажет, что вылетит из его бесшабашного сердца вся его мощь и сила, высадив в сердце окно вместе с рамой, пальцы изрезав, шурупы сорвав, и все что тут есть увлечет мелодией в путь-дорогу без края и имени – туда, где нам быть поистине должно, но лишь кровь передвинув, смерть переплюнув и судьбу обманув. И играет гармошка, и крик стоит на земле, но никто того крика не слышит. Если даже в

самой глубокой и страшной тиши и прислушаетесь, все свои мысли прервав, и тогда не услышите, а он все течет, как родник, все вокруг живет и растит, все рыдает и все свои разбойные песни поет. А замолкнет он – сгинем мы с вами в безнадежном повторе нашей налаженной, нашей единственной и надежной, нашей мертвенной жизни.

И все ж улетел бы короб, куда Макар телят не гонял, рванувшись от света и тени, но стоит на страже могучая сила, непреклонная и несговорчивая, угрюмая и надежная – одернет враз она комнату, поставит в ней вещи как надо, картинку – на стенку, стол на пол и летчика в кресло; прищипнет и пальцем покажет на землю – здесь твое место!

А только что она, эта победная сила, без воровской да безумной песни, а скажу я вам правду – ничто!

А посидеть тут подольше, так можно и вовсе съехать с ума от всей этой пляски, спятить не в шутку от песни бесшумной, от гармоник тихой. Ведь в комнате пахнет еще ж и камелией, разливаются снизу лягушки, и все чудится, не перестает, запах женских духов, и белый пиджак висит на спинке кровати, как привидение.

Всю ночь вздрагивал светом Николай Федорович, глаз не смыкал, не вставал с кресла, расходясь с собою и снова сходясь, размыкаясь и вновь смыкаясь, расставаясь с телом и снова с ним же встречаясь, вспыхивая в зеркале и погасая.

Заходилась хор лягушачий, речка звенела, ходили туда-сюда ночные скрипы – заснул он только под утро, откинувшись на подушки, не раздеваясь.

## 15

но и дом весь качается, ходит туда-сюда, как во сне, – вот уже он не гостиница, а жилой дом, в котором осели переселенцы с Кубани и Дона, приехавшие сюда в 1929-м, убегая от голода, в основном, казаки, тут и семья отца, и сам он, четырехлетний, и два его брата.

А вот он годы спустя – кудрявый, рискованный, сидит возле дома на лавочке над шахматной доской, бутылка портвейна «777» рядом, и шевелящаяся тень от листьев играет на его клетчатой рубашке. Напротив, на той же лавке верхом – игрок помоложе. В драных джинсах и синей футболке, пьет вино из стакана, скосясь на фигуры, обдумывая следующий ход, а рядом свалена куча угля для подвальной котельной, и шепчется в ветерке бамбуковая роща с металлической койкой, стоящей среди полых стволов. В сарайчике напротив сосед играет на аккордеоне «Синий платочек», бабочка, рыская, летит через двор незнамо куда.

А вот уже во дворе – кафе «Ромашка» с бьющим круглосуточно невысоким фонтаном, в котором дно бассейна выложено разноцветной смальтой, и вода морщится вокруг падающей струи. И когда пьешь пиво, стоя за утренним столиком, облокотившись на него, то кажется, что после бессонной ночи день вот-вот распахнет, как этот белоснежный мост, выбегающий почти из-под ног на ту сторону ущелья, и подхватит тебя и одарит полетом и безалаберной радостью.

Пьешь пиво и, морщась, вспоминаешь обнаженные тела двух подруг, светящиеся, как статуи, в домике на берегу моря, и как мерцал рыжий и голубой витраж в дверях, от фонарного света с улицы, – и вот уж размылось утро с фонтаном и белым мостом над ущельем, и вот – ни дома, ни бамбуковой рощи, ни беглых казаков и ни фонтана со смальтой на дне.

А на их месте высится нелепое сооружение, похожее на гигантскую чернильницу, малинового цвета, с тонированными окнами, то ли магазин, а то ли торговый центр. Остатки бамбуковой рощи все еще видны, но от моста почти ничего не осталось. Дома, вымахав со дна ущелья как исполинские грибы, встали над ним, превратив летящую конструкцию просто в еще одну улицу, скучно идущую параллельно невидимым пляжам.

И похоже, что больше никто не помнит гостиницы, из которой был виден маяк. Похоже, никто не знает уже, как текла речка по дну ущелья и как пели лягушки, потому

что все-все куда-то уходит. Не знаем мы, куда именно уходит оно, в какие запасники, отделяваясь невыразительным, хоть и весомым словом «прошлое». Но, похоже, не может уйти в прошлое то, что существует вообще вне времени. Уходит лишь то, к чему время прилипло, как скотч, оно-то с ним и уходит. И новый мираж все более плотный и яркий обступает людей, их закрывая от рожи, от пустого бамбукового ствола, от вспыхнувшей ложечки в стакане, от запаха утреннего моря, делая вид, что ничего этого больше нет, да и не было вовсе.

Так светящийся абажур делает вид иногда, что это он излучает свет, а не лампа. Но не абажур и не лампа рожают свет, в котором мы любим, живем и умираем, – нет, не они. Свет излучаем мы сами, мы и есть – этот свет, что никогда не уходит. Ведь свет, в котором бегут наши дни, как автомобили по мосту, он не уходит и не приходит, не начинается и не кончается, не восходит и не заходит – *он есть*.

16

человек и земля состоят не из того, из чего мы думаем. А также и снег, и ветер состоят не из того – из другого.

Вот идет в японской соломенной шляпе человек по мосту, в руках трость, в глазах небо и дождь, а в памяти – снежный пик, скажем, Фудзи. Внизу речка течет, и если всмотреться, увидим, что она состоит из человека, идущего по мосту, и что это она идет сейчас по мосту, а он течет там, внизу.

И так течет он внизу, что в каждой капле, какую б ты только ни взял, увидишь этого человека, как бывает с каплей на конце листка, скажем, астры, когда в ней видно все вокруг – и дом с красной крышей, и колодец, и береза с забытым на сучке полотенцем. И сколько б капель ни было в этом саду, во всех ты увидишь красную крышу и полотенце.

В каждом всплеске реки ты найдешь этого человека в соломенной шляпе, который на самом деле река, а значит, в каждой волне реки ты найдешь – волну реки, но потому лишь, что человек, из которого состоит река, на самом деле состоит из реки.

Его одевает дождь, его мочит плащ, а мостик поскрипывает под торопливыми шагами. Что это за человек, откуда он взялся и куда идет? Слава Богу, того я не знаю.

Дело в том, что знай я его, я бы владел его именем, и тогда все очарование пейзажа с дождем и человеком над речкой сразу пропало б, а так – он идет в *пространстве отсутствующего времени, а значит в пространстве незнания*: ни наверху, ни внизу, ни справа, ни слева, ни именованный, ни безымянный, ни мой и ни твой, ни дух и ни тело, ни человек, ни река, – а все это сразу.

Не знаю, когда именно я его увидел впервые, и ты тоже не знаешь. Никто, впрочем, не знает, никто. Сайге не ведает, и Хиросигэ не в курсе, потому как им всего этого знать не надо, им дела до этого нет и не будет.

А что надо знать?

А вот что. Вот ежели тебе удастся посмотреть на себя так, как ты смотришь на этого человека, то и войдешь ты тогда в свои запретные комнаты, о которых всегда тосковал, по которым томился, думая, что они – это твоя мама или, потом, что – возлюбленная, или что – деньги, или, уже намного позже, ты думал, что это – твое исчезновение.

Но нет! Не мама и не возлюбленная, и не исчезновение.

Но – человек с вязанкой хвороста на спине, сидящий в «форде» или в «пежо», играющий джаз на контрабасе, плачущий на могиле умершей жены, считающий выручку за день задубевшими руками, набивающий косяк или пускающий продукт по вене, стоящий утром в кафе рядом со скромным фонтаном, торгующий продуктами в деревенском магазинчике... – все они состоят из реки и человека, состоящего из реки.

Все они – ответ на твой вопрос, на твое безмолвие, на твое отчаяние и на твою любовь.

Поэтому склонись до земли, по которой они ходят, и поцелуй эту землю.  
Человек и земля состоят не из того, из чего ты думал.

17

еще не предупредил я, что наша история движется не так, как обычно, а в обратном направлении, и не в сторону сгущения смысла, а вовсе наоборот – от конца и к началу, от итога и синтеза смысла – к его распылению и расточению, угасанию, что ли. Что ближе к концу ты будешь стоять у истока времен вместе со мной – не смешно ли! – словно бы у первых стихов Септуагинты, у начала древней и мудрой книги, названной Библией, почти что на побережье, а смысл повествования будет угашен настолько, насколько это возможно, когда ты книги еще не открыл.

Потому что все реки текут по-настоящему – вспять.

Потому что слова говорят не то, что ты думаешь, а то, что в них прошло от последней буквы до первой.

Потому что ни в ком из нас нет ничего особенного или интересного, кроме одного.

Потому что у дирижабля две стороны – добрая и злая, и исчезают они в его живом центре, где времени нет.

Потому что то, что мы все презираем, это и есть – мы истинные, которых мы презираем.

Потому что Христос мужицкий – это все мы, которых мы презираем и которых в себе не хотим, подменив свет – абажуром и лампой.

Потому что, пока ты не найдешь себя, ты не найдешь себя.

Роза не делает усилий, чтобы цвести. Она просто цветет.

Войди по колено в могилу – это твоя земля.

18

### **краткая информация**

За четыре года Первой мировой войны воюющими государствами было проведено около ста тысяч воздушных боев, в ходе которых было сбито 8073 самолета, огнем с земли уничтожено 2347 самолетов.

Немецкая бомбардировочная авиация сбросила на противника свыше 27 000 тонн бомб, английская и французская – более 24000.

Немцы признают потерю 3000 своих самолетов. Не более 500 машин потеряла Австро-Венгрия и прочие союзники Германии.

Всего асами Антанты было сбито свыше 2000 германских самолетов. Немцы признали, что потеряли в воздушных боях 2138 самолетов и что не вернулось из расположения противника около 1000 машин.

### **Список самолетов, участвовавших в боях Первой мировой**

#### ***Великобритания***

Airco DH.1 и DH.1A, Airco DH.2 (aka De Havilland DH.2) (1915), Airco DH.4 (1917), Airco DH.5 (aka De Havilland DH.5) (1916), Airco DH.6, Airco DH.9, Airco DH.9A, Armstrong Whitworth F.K.3, Armstrong Whitworth F.K.8, Avro Type E и Es также известны как Avro 500, Avro 504 (1916), Blériot Parasol моноплан, Blériot XI, Blériot XII, Blériot XXI, Breguet Type III, Bristol Boxkite, Bristol Coanda Monoplane, Bristol F.2 Fighter (апрель 1917), Bristol F.2B Fighter, Bristol M.1, Bristol Prier Monoplane, Bristol Scout (1915–1916), Bristol T.B.8, Caudron G.III, Cody V biplane, Curtiss JN 3, Curtiss JN 4, De Havilland DH.10 Ariens,

Deperdussin TT Monoplane, Fairey IIB (1917), Fairey IIIA (1917), Fairey, N.10 (1917 прототип), Farman Biplane, Farman F.40, Farman HF.20, Farman III, Farman MF.7 Longhorn, Farman MF.11 Shorthorn, Farman Type Militaire, 1910, FBA Type A, Felixstowe F2A, Flanders F.4, Grahame-White Type XV, Handley Page 0/100 и 0/400 (1916), Handley Page V/1500 (1918), Henry Farman Biplane, Howard-Wright Biplane, Martinsyde G.100 и G.102, известен как «Elephant», Martinsyde-Handasyde Monoplane, Martinsyde S.1, Morane-Saulnier Type AC, Morane-Saulnier Type BB, Morane-Saulnier Type G, Morane-Saulnier Type H, Morane-Saulnier Type I, Morane-Saulnier Type L (1913), Morane-Saulnier Type LA (1914), Morane-Saulnier Type N (1914), Morane-Saulnier Type, P (1914), Morane-Saulnier V, Nieuport IV моноплан, Nieuport 12, Nieuport 16, Nieuport 17, Nieuport 20, Nieuport 21, Nieuport 23, Nieuport 24, Nieuport 27, Paulhan biplane, Royal Aircraft Factory B.E.12 (1915), Royal Aircraft Factory B.E.2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, Royal Aircraft Factory B.E.3, Royal Aircraft Factory B.E.8, Royal Aircraft Factory F.E.2 (1915), Royal Aircraft Factory F.E.8 (1916), Royal Aircraft Factory R.E.1, Royal Aircraft Factory R.E.5, Royal Aircraft Factory R.E.7, Royal Aircraft Factory R.E.8, Royal Aircraft Factory S.E.2, Royal Aircraft Factory S.E.4a, Royal Aircraft Factory S.E.5 (1917), Short Bomber, Short S.32 School Biplane, Short S.62, Short Tractor Biplane, Short 184, Short Type 820, Short Type 827, Sopwith 1½ Strutter(1916), Sopwith 3-Seater, Sopwith 80 hp Biplane, Sopwith Baby, Sopwith Camel (1917), Sopwith Cuckoo, Sopwith Dolphin (1918), Sopwith Pup (октябрь 1916), Sopwith, nipe (1918), Sopwith Tabloid, Sopwith Triplane (1916), SPAD S.VII, Vickers Boxkite, Vickers F.B.5 (1915), Vickers F.B.12, Vickers F.B.14, Vickers F.B.19 Mk II, Vickers FB Gun Carrier', Vickers Vimy, Voisin II, Wight Converted Seaplane

### ***Германия***

AEG G.I-G.II, Albatros B.I, Albatros B.II, Albatros B.III, Albatros C.I, Alter A1, Aviatik B.I, Aviatik B.II, Aviatik C.I, Euler D.I, Fokker A.I, Fokker A.II, Fokker A.III, Fokker Dr.I (1917), Fokker E.I (1915), Fokker E.I, Fokker E.III, Fokker E.IV, Gotha G.I, Hanuschke E.I, Junkers E.I, LVG B.I, LVG B.II, Pfalz A.I, Pfalz A.II, Pfalz E.I, Pfalz E.II, Pfalz E.II, Pfalz E.IV, Pfalz E.V, Pfalz E.VI, Rex D 6, Rumpler B.I, Rumpler C.I, Schütte-Lanz D.I, Siemens-Schuckert D.I, Siemens-Schuckert E.I, Siemens-Schuckert E.III, Siemens-Schuckert R.I, Taube

### ***Италия***

Caproni Ca.1 (1915), Caproni Ca.2 (1915), Caproni Ca.3 (1915), Caproni Ca.4 (1918), Caproni Ca.5 (1918)

### ***Россия***

Анатра ДС, Lebed 12, Сикорский С-22 «Илья Муромец» (1914), Сикорский «Русский витязь»

### ***Румыния***

A. Vlaicu nr. 1 (Reconnaissance) (1910)

### ***США***

Curtiss JN-4D (1917), American DH.4a (Britain/U.S.) (1918, Loening M-8 (1918), Navy-Curtiss F-5L (1918)

### ***Франция***

Blériot XI, Breguet 14 (1917), Caudron G.4, Dorand AR, Hanriot HD.1, Maurice Farman S.11 (1914), Caudron G-III (Bomber) (1915), Morane-Saulnier L, Morane-Saulnier P, Nieuport 11, Nieuport 12, Nieuport 16, Nieuport 17 (1916), Nieuport 23, Nieuport 27, Nieuport 28, Salmson 2, SPAD S.VII SPAD S.XII, SPAD S.XIII (1917), Morane-Saulnier N (1917), Voisin III

Первый в мире самолет-истребитель РБВЗ-16 построен в России в январе 1915 г. на Русско-Балтийском заводе, на котором был ранее построен тяжелый воздушный корабль «Илья Муромец».

На вооружении Российской империи имелись и другие самолеты: «Моран-Парасоль», развивавший скорость до 125 км/ч и поднимавшийся на 4000 метров, «Депердюссен», и новейшие летающие лодки Д.П. Григоровича.

19

### **потери русской авиации**

К началу боевых действий в составе воздушного флота России насчитывался 221 летчик: 170 офицеров, 35 нижних чинов и 16 вольноопределяющихся (добровольцев). На 1 января 1915 г. потери летчиков составили 33 человека или 14,9% от общего состава. Из них 6 погибли от действий неприятеля, 5 – в авариях, 22 попали в плен и пропали без вести. Среди погибших: штабс-капитаны Грузинов, Нестеров, поручики Лемешко, Гудим, старший унтер-офицер Доброшинский и др. Пропали без вести: поручики Николаевский, Шамин, Машерек и др. Ранены или разбились при падении: капитан Витковский, гвардии штабс-капитан Мельницкий, штабс-капитан Мучник, поручики Городецкий, Корнидов, Павлов, доброволец Шпицберг.

Таран и героическая гибель 26 августа военного летчика начальника 11-го КАО Петра Николаевича Нестерова открыли новую эпоху борьбы в воздухе. Из вооружения у русских авиаторов имелись только пистолеты «Маузер» и карабины.

В общей сложности в 1916 г. русские авиаторы совершили 15435 боевых полетов общей продолжительностью 25686 часов.

Из всех погибших самолетов 52% стали жертвами отказов матчасти; 23% разбились из-за ошибок пилотирования; 18% были сбиты огнем зенитной артиллерии и 7% погибли в воздушных боях.

На 15 сентября 1915 года из 208 аэропланов, состоявших на тот период на вооружении русских убыло 94 машины. В течение 1915 года армия получила с русских заводов 772 самолета, из них 18 – типа «Илья Муромец», с французских – 250. К началу 1916 года в русской авиации насчитывалось 360 машин, в союзной французской – 783, а в германской – 1600.

20

– а вы знаете, что Нестеров считает вас лучшим из авиаторов? – говорю я. – Мне это дядя сказал, он с ним встречался в Киеве.

– Господин Нестеров выдающийся пилот, – говорит Николай Федорович, – мне чрезвычайно приятно слышать положительный о себе отзыв такого человека, как он.

Мы стоим на утреннем поле рядом с самолетом, солнце светит косыми нежаркими лучами, вдалеке видно искрящееся море. С моря долетает ветерок, у горизонта тащится пароход с застывшей над ним полоской дыма.

Когда мы сюда приехали, было прохладно, поэтому на плечах у меня летнее пальто Николая Федоровича «Честерфилд», он накинул мне его на плечи еще в автомобиле, по дороге сюда. Мы немного задерживаемся, потому что механик Никита еще раз проверяет мотор и крепеж тросов управления.

Сегодня Николай Федорович в мундире и бриджах, на лбу у него летные очки. Такие же он дал и мне.

– Петр Николаевич, – говорит он, – открыл новые возможности пилотажа, продемонстрировав знаменитую «мертвую петлю», но это только начало того, на что способен человек в полете. Я вот что хотел вас спросить...

Я вижу, как он волнуется, и почему-то сама начинаю волноваться. Поэтому я меняю тему разговора и спрашиваю: А что это такое вы всю дорогу повторяли в автомобиле, заклинание?

– А, это... – он смеется, – да вот привязалась какая-то строчка, сам не знаю откуда.

– Какая строчка, я не расслышала?..

– «Зачем твои высоты мне – низины...» – говорит он. – Откуда взялась, ума не приложу.

– Иногда что-то придет на ум, а потом исчезает, как не было, – говорю я. – «Твои высоты – мне низины...» Это Бальмонт, наверное.

– Неважно, – говорит он. – Я вот что хочу сказать. Ведь кроме «мертвой петли» есть еще и «живая петля».

Я стою и слушаю внимательно, больше я его не перебиваю. Я вижу, что он волнуется.

21

– вы знаете такое имя, Август Мёбиус? – спрашивает он.

– В гимназии нам рассказывали, – отвечаю я. – Немецкий астроном, механик и математик, доктор философских наук, жил в 18 веке.

– Одно из его открытий, – продолжает Николай Федорович, кажется, довольный моей осведомленностью, – односторонняя лента, плоскость с одной поверхностью. Но это с точки зрения, скажем, идущей по этой ленте мухи, она с одной поверхностью, а зритель может видеть, как муха, идя по одной поверхности и никуда не сворачивая оказывается на другой стороне плоскости. Но наше Евклидово пространство тоже можно представить в виде этой ленты, только трехмерной, а не плоскостной. И тогда, если его правильно замкнуть, путешествуя по нему, можно оказаться на другой его стороне. Я, наверно, непонятно объясняю, – внезапно говорит он.

– Отчего же, – говорю я, – я общий смысл улавливаю.

– Прекрасно! – я вижу, что он обрадовался. – Так вот, все дело в том, что эти три измерения – все это у нас в уме. Кант показал, что это просто категории, формы мысли, как и время. И что если в новой своей мысли я решу, что нахожусь в подобном этой ленте континууме, одним словом, в пространстве-времени, замкнутом наподобие ленты Мебиуса, то я смогу оказаться на другой его стороне. Хотя бы ненадолго, – добавляет он. – Звучит это просто, но ум не так легко перестроить, перевести в новые измерения, он очень консервативен, наш ум... – с досадой говорит Николай Федорович. – Тут нужна помощь со стороны чего-то... конкретного, какого-то конкретного орудия...

– Самолета! – меня внезапно осеняет.

– Так точно, – почему-то по-армейски отвечает Николай Федорович. Он улыбается. – Как это вы так быстро поняли, а я ведь разным людям пытался объяснить, но все без толку.

Он оборачивается на самолет, с крыла которого только что спрыгнул Никита. Теперь он стоит рядом и выжидательно смотрит на нас.

– Сейчас, Никита, – машет ему рукой Николай Федорович, – минуту! Понимаете, – продолжает он, словно споря с кем-то, – на самом деле неважно, сколько у ленты сторон – две, три или бесчисленное множество. Это ведь все лишь умственные концепции, условные имена. Важно то, что делает эти две, три или бесчисленное множество вариантов ленты – возможным.

– И что же это? – спрашиваю я.

– Видите ли, в чем дело, Ефросинья, – говорит он как-то смущенно, – у *этого* нет имени, но именно его надо достигнуть, а лента Мебиуса, это так, чтобы уму было от чего оттолкнуться, как и самолет. Тут суть ближе к тому, о чем писал Владимир Соловьев в той статье, о которой мы вчера с вами говорили. Тут суть в вере.

Я чувствую, что этого мне не понять, но сразу вижу, что, может быть, тут и не надо ничего понимать, а надо – снова и снова видеть вот эту поляну с одуванчиками и кашкой, этот воздух, пахнувший бензином и морем, Никиту в комбинезоне, стоящего с железной канистрой в руках, – все то, что сейчас есть, обычное, беспредельное и радостное, будто бы только сейчас увиденное.

– Давайте, – говорю я, – давайте быстрее. Как же в него забираться?

– Правда? – он весь сияет. – Вы решились? Вы согласны? Но это может быть опасно, вы понимаете?

– Чего уж тут! – говорю я и с помощью механика лезу на крыло аппарата.

22

Никита помогает мне пристегнуть ремни, Николай Федорович садится передо мной. Он оглядывается на меня – все ли в порядке, и я улыбаюсь, чтобы он увидел, что у меня все хорошо. Никита дергает винт, тот рвется из рук, мотор ревет, и лопасти образуют сплошной размытый круг. Самолет трогается с места, бежит, подпрыгивая на кочках, все быстрее и быстрее, внезапно тряска прекращается, и я понимаю, что мы летим.

Белый шарф на шее летчика бьется в воздухе, правое крыло уходит вниз, и я вижу море. Оно сразу и далеко, и близко. Я вижу шаланды с приклеенным к корме мутно-молочным расходящимся следом, светлую береговую полосу, отчетливо очерченную пеной прибоя, белые мазки на синей поверхности, похожие на удары кистью с белилами по холсту, – это барашки, так их видно отсюда, я вижу маленькие дома у побережья, белое здание отеля «Кавказская Ривьера», городской причал с пришвартованным парохом, рядом вспыхивает на миг серебром лента речки и тут же погасает. Мои волосы, выбившиеся из-под косынки, треплет ветер. Самолет делает разворот на сто восемьдесят градусов и берет курс на мыс Адлер. И здесь, над морем, между чаек, облаков и волн аппарат, кренясь и переворачиваясь, входит в фигуру, которую можно сравнить с огромной лентой, перекрученной вдоль оси и снова замкнутой спиральным кольцом на себя в месте разрыва.

23

– никогда ничего не надо утверждать, – говорит приезжий писатель Сергею Николаевичу Худекову, – слон, э... он ведь есть слон, э... и без утверждения, а когда уходит жена, она ведь берет и уходит, и ей ваше утверждение ни к чему. Люди, утратившие себя, а таковы почти все, – что они могут утвердить во благо? Ведь утверждать – это давать свою добрую жизнь томящемуся по ласке животному или же дереву, это прибавлять, так сказать, некоторое количество высокой человеческой жизни – жизни менее развитой. А какую жизнь может прибавить кому-то другому человек, так и не ставший собой, – только лишь фиктивную и может, да-с.

– Не усложняете ли вы, Петр Иванович? – замечает Худеков, однако слушает гостя с интересом.

– Ничуть! Заметьте, мы только и делаем, что всё чего-то утверждаем, чего-то называем, определяем, кто прав, а кто сволочь, кто поэт, а кто торгаш, кто бл..., а кто праведница. А зачем?

– Что ж, не утверждать?

– А я вам вот что скажу, про мечту всей своей жизни, – понизив голос, проговорил гость. Он слегка выпил и теперь, что называется, поплыл. – И вот что я вам скажу, дорогой мой Сергей Николаевич, представьте, серебряный таз, а в нем несколько крабов. Только эти крабы, настоящие и живые, сделаны словно бы из стекла или какого-то прозрачного материала. В комнате, где этот таз стоит, происходит жизнь, ну, самая что ни на есть жизнь – с работой, хлопотами, несчастной, скажем, любовью к преподавательнице французского языка, с болезнями детей, поездками на курорты, денежными расчетами, а также обедами, встречами с влиятельными людьми и всем прочим. И вот они, эти стеклянные животные, ничего не делая, но лишь очень-очень медленно и нежно трогая друг друга клешнями, сообщают всему происходящему в комнате иной смысл. Они чутки, нежны, время их обходит стороной, они знают друг друга и знают каким-то простым способом все трагедии мира... и остальных планет, и им известно до глубины глубин каждое, да, каждое! человеческое сердце, как великое, так и ничтожное, со всеми его тайнами, благородными порывами, расчетами, любовным томлением и предательскими планами. И вот они, пронизанные светом попеременно встающего и заходящего солнца, ничего не делают, как только нежно прикасаются друг ко другу, даря этими почти невесомыми, но бесконечно значимыми прикосновениями всю любовь и сострадание, которые за века успел-таки накопить в себе наш бездарный мир, и даже больше того. И это все!

– В тазу, то есть, они дарят друг другу сострадание?

– Ну, что ж с того, что в тазу. Но таз тут не главное. Главное в том, что они ничего не утверждают, и потому вокруг них словно расходятся невидимые круги сил, преображающие все вокруг – цветут сады, убийцы раскаиваются, сухие деревья выпускают из себя новые юные побеги, младенец наступает на аспида, и тот не хочет его жалить, львы едят солому...

– А жена? – спрашивает Сергей Николаевич.

– Что жена?

– Жена возвращается?

– Вам угодно шутить Сергей Николаевич, но я скажу вам так – и жена возвращается, и все-все, что вы утратили некогда вместе со своей невинной молодостью, возвращается тоже. А вы утратили много – и первый снег на улицах, и запах весны, когда сердце трепещет и рвется, и белую от луны тропку в деревне с ежиком, и другие вещи, ради которых только и стоит жить, любить и плакать. То, что я вам сейчас рассказал, это невиданная, не знаемая пока что никем форма спектакля, это – прозрение нового, да! Начало никому еще не ведомого искусства, это революция в театре, рядом с которой господин Мейерхольд с его «Балаганчиком» померкнет, как вышедшая в расход монета!! Сцена! Свет! Стеклянные крабы, они же мы с вами, перебирающие силовые нравственные линии натяжения мира – всех миров на свете! видимых и невидимых... пронизываясь светом и шевеля клешнями, и при этом ничего не утверждая, заметьте! Ни-че-го! И вы не можете оторвать от них глаз, потому что с каждым мучительно медленным движением стеклянной клешни в вас раздается глубинная музыка миров иных, и вы... вы... находите в этот святой час самого себя, и ликуете и плачете от счастья.

– Так что же, – снимая салфетку с колен, замечает Сергей Николаевич, – эти ваши крабы и есть, так сказать, Царство небесное в силе?

– Можно сказать и так, – отвечает вдохновенно гость, но спохватывается, обмякает и добавляет уже как-то вяло, – можно сказать и так, – впрочем, я ничего не утверждаю, ничего! Вы знаете мои правила. Я никогда и ничего не утверждаю.

Тут гость неожиданно всхлипывает, достает из кармана чистый носовой платок и высмаркивается.

– Хотите кофе по-турецки? – спрашивает его Сергей Николаевич. – Прислуга моя, армянка, замечательно его варит.

От гостя Сергея Николаевича год назад ушла жена, сбежала с тенором из Миланского театра, и бедняга даже пробовал застрелиться, однако пистолет то ли дал осечку, то ли пуля попала не туда, куда надо, но так или иначе бедный поэт остался в живых. С тех пор, однако, он стал сильно пить и волочиться за девушками из простых – горничными, модистками и всякой прислугой. Сергею Николаевичу было жаль талантливого человека, и он как мог согревал его вниманием и вполне щедрой толикой мужской дружбы.

24

в Сочи зажглись уже окна домов. Станный это город, в котором никто не воевал и который никто не бомбил, потому что все хотели сохранить его для себя. Остальные города стоят себе на земле, а этот подвешен к небу, и вот не поймешь, как именно – нелепо или возвышенно. Словно летающее чудо-юдо в форме большого сита, завис он в воздухе меж морем и горами и уж который век просеивает сквозь себя жизни людей и кузнечиков.

Думаете, здесь плачут? Нет, тут не плачут, не такой это город, чтобы в нем плакать. Ну, а если и плачут иногда, то лишь крикливыми и серебряными казацкими голосами, и поэтому серебра здесь больше, чем в Валдайских озерах с большими рыбами. Город встряхивает свое сито и летят плевелы, а зерно, что должно умереть, чтобы снова родиться, остается.

И город идет слоями, словно воздушный пирог – вот слой адыгейский, вот черкесский слой, вот греческий, а здесь вот живут армяне, и турки, и эстонцы, и немцы, и молдоване, и русские – кого только нет в его слоеном объеме! А теперь на один миг только представьте, сколько видит за всю свою жизнь один-единственный, например, эстонец или, пускай, армянин или немец. И представьте, что будет, все это количество мыслей и образов внутри каждого человека, все эти воздушные города, слои и собрания, полные картин и впечатлений, сложить воедино – какой тут сад вырастет, сколько тут крови, виноградного сока и слез брызнет! Какой короб огромный понадобится, чтобы все эти грезы, судьбы и воспоминания в него запихать и, так сказать, увязать! И, конечно, невозможно было бы найти такой короб, если б только не превращались разноцветные воспоминания в чистые идеи и не уходили бы в небо – туда, в облачное хранилище, где все становится чище и легче, правдивее и компактней, при этом связи с землей не теряя, но со своей стороны выпрямляя и обновляя все, что на земле происходит.

Впрочем, одно время и тут велись военные действия, пока на том месте, где стоят сейчас церковь и маяк, находился военный форт Навагинский, подвергавшийся периодическим набегам убыхских племен и каждый раз успешно их отбивавший малочисленным своим гарнизоном.

Но сейчас в одном из слоев сита – в 1915 году, в начале августа месяца – тут никто не стреляет, горят тихо окна в дачах с витражами и башенками, а с побережья долетает музыка военного оркестра. И, словно гости фата-морганы, колеблются в танце пары почти что нестерпимой красоты и хрупкости. Предприниматели, актрисы, курсистки, дети промышленников-миллионеров, художники и дельцы празднуют свое первое военное лето, не очень-то задумываясь о том, что будет с ними через два-три года. Со стороны все это выглядит вроде черепахи, на спине которой танцуют вальс немцы, москвичи, питерцы, русалки, города, летчики, ночные бабочки, золотые рыбки, Стравинский, неизвестный поэт, девочка с персиками, звезда Полынь и птица-секретарь. Колеблется черепаха на черной воде, когда еще нырнет!

И светят в парках фарфоровые фонари магнолий.

Тут, на спуске к порту, если идти от церкви, есть один дом, сужающийся двумя кирпичными белеными стенами в чрезвычайно острый угол. Внутри угла расположена комнатка, в которой житель, художник, служащий в местном казначействе, скопировал

известную работу Леонардо «Человек Витрувия». И только там, в этой комнатке, если сидеть в ее сужающемся почти до остроты ножа пространстве и вглядываться в рисунок Леонардо – в фигуру человека с разведенными руками и ногами и вписанного в правильную окружность, – только там и можно увидеть, что человек этот не стоит, как принято думать, а падает. И делается совершенно ясно, что художник пошутил. Причем пошутил зло, хоть и бесстрастно. Потому что, если взглянуть на изображение в правильной перспективе, а именно – сверху, то видишь голого незнакомца, выпавшего из круглого люка дирижабля и летящего спиной к невидимой пока еще земле. И понимаешь, что человек, совпавший на миг разведенными руками и ногами с окружностью люка, падая спиной вперед и тяжело глядя на вас сумрачным взглядом, будет делаться у вас на глазах все меньше и меньше, пока не совсем не скроется из виду. Именно так падали летчики первой мировой, потому что парашюта на них еще не было, и если чем и можно было замедлить падение, то лишь разведенными на манер звезды руками и ногами.

После этого открытия, сделанного в острой комнате дома на спуске, вас уже не сбить с толку, не одурачить. Каждый раз теперь, когда вам на глаза попадет изображение, вы тихо скажете – ага! И, вглядываясь в лицо человека Витрувия, будете ждать мгновения, когда оно, чуть заметно дрогнув, начнет уменьшаться у вас на глазах, делаясь все меньше и меньше до тех пор, пока не исчезнет совсем.

25

и тут, когда самолет стал медленно переворачиваться вверх колесами, словно что-то щелкнуло, и я перестала слышать мотор. Наступила тишина, будто из «волшебного фонаря» быстро и мягко вынули картинку и вставили новую, и там, где только что был замок со знаменами, оказалось небо.

Я теперь была словно без веса и имени, как чистый свет, который все ж не терял моего тела из виду. Но я не была уже телом – скорее новым пространством, распахнутым на все стороны света – в нем-то оно и жило, кружась и ныряя, мое невесомое, не подвластное боли или утрате новое тело.

Я поняла, что хотел изобразить Сандро Боттичелли на своем рисунке к «Божественной комедии». Еще раньше, когда я увидела его впервые, у меня было чувство, что я его знаю.

Черной тушью вычерченные над небесной рекой, взятой в две сужающих линии, летели две фигуры – одна побольше, вторая поменьше. Первая Беатриче, и Данте – вторая. Никаких усилий они не делали. Усилие, что несло обоих к Эмпирею, к сердцу мира, над речкой с огненными цветами, было сделано ими давно, и теперь их влекла безымянная сила, выворачивая прошлое, как чулок, наизнанку. И потому не они теперь творили полет, а полет их творил, как сама жизнь, что творит бамбук или птицу, залив или гору, или подкову в пыли, или блестящий от солнца ключ на пороге.

Я видела, что любое движение, любая моя мысль единственно верны – *таким* было это пространство, в котором мы плыли. Его можно было б назвать *безошибочным*, но слово «родное» к нему подходило все ж больше.

Время текло сразу в несколько сторон, словно ветки дерева, и с разными скоростями. Бьющийся в ветре белый шарф замедлился – каждый его изгиб теперь *случался* и каждое движение белого шелка было единственно верным, таким, каким я его и хотела видеть, прежде чем оно появилось – и другого быть не могло.

Больше не надо было сравнивать, сомневаться, что-то искать – здесь было все, что я когда-то хотела. Все события, к которым я раньше стремилась, пришли ко мне как стадо овец и стали у входа, тычась в ладони, и я слышала запах мокрой сирени из детства.

Вес тела не был больше направлен к земле. Он не ушел, но *такая* тяжесть несла тело вперед или вверх по желанию, могла превратиться в бег и в полет, сразу вослед за мыслью о беге или полете наполняя движенье избытком послушной силы.

Мы теперь были вместе, нам было по пять лет, мы летели в самолете, и мы играли на зеленой горе среди цветов и бабочек, и все это сразу. И не было больше краев у вещей и людей и зверей, никогда и нигде не было больше краев...

Мы были – одно, словно гвоздь и магнит, словно огонь и свеча, словно тепло и рука. Сколько б разлук нас ни ждало потом, сколько б мы ни теряли друг друга, ни расходились поврозь – переулками, странами, войнами, даже смертью самой – это уже ничего не меняло.

Вот что произошло, там – в небе над Сочи.

О таком говорить – как на яхте идти против ветра – галсами, рыская, теряя направление, уклоняясь от курса и смысла, почти что мыча. О таком говорить – словно камень грызть.

25 а

### песня Офелии

глядят меня волны, поют ручейки, несет течение. Поцелуй твои горят на моем теле, присосавшись к нему, как твердые раковины – песня греет мне горло. Кто бензин плеснул в воздух, кто свечку поднес? Взрывается авр<sup>1</sup> и горит, не сгорая, пока я плыву. Как найти свое тело, нежное и теплое, тяжелое и послушное, словно медуза? Только река найдет его, лишь ручейки, прозрачные щупальца, в которых вьется она. Ах, спрут-река, ах, родинка на плече, жгучая словно спирт, обозначьте, найдите меня огнем и щупальцем, освежите мне тело, расшнуруйте корсет! Глянь, безымянный, на тело, ныряющее в потоке, белое, как лилия, как дуст, как асбест, глянь!

Смотри на него, смотри, как плывет оно, чуть качаясь, через канал, через шоссе, супермакет, аэродром, сквозь дуплистый дуб – не знаешь ты, что тело мое бензиновый факел. Плывет, одетое в пламя, как в платье, расширяясь над полом, юбкой метая, буги-вуги танцуя; распавшись на голыши, галькой шуршит, зажигает кефаль возле дна.

На правом плече у меня сидит черный кот, вопит и рвет кожу когтями. В животе моем рождает змея, множит свое отродье, семейку солнцеликих, помет премудрости – тужится крепкими кольцами – потому ширюсь я до спирали галактики, до пружины ракушки, потому застыла в дверях. А девочка воеет на сплюснутый череп дружка, впрессованного в железку встречным грузовиком, а я шью слезы солдату, убитому в Ливии вместе с другом, с которым ходили в Воронеже в школу, а птица бормочет и тренькает в небе стеклянную песню.

Мой принц зачал меня, а я – его под орешником, рядом с алюминиевой рекой, среди разбитых компьютеров и пластмассовых пакетов.

Речной хрусталь играет у меня под головой, краб выпил мой глаз, водоросли дарят свеченьем, небо смотрит в меня другой своей стороной, где сияет его настоящее лицо, бесполое, как у ангела. И имя его стоит как разбитый танк на немых губах. Землечерпалка рвет подо мной воду, вынимает наружу ржавые бамперы, обручальные кольца утопленниц, кости коров с пастухами, мертвую рыбу, подводный огонь.

Мы начинаем с тобой друг друга, мой принц, между хрипом и визгом, между светом и кровью, между ангелом с чашей и плачем дитяти. В начале вещей лежит начало вещей.

Он ушел и вернулся, и тогда мы легли, зачиная друг друга. И я задрала юбку в байдарке, и я задрала ноги в офисе, и я раздвинула их в палатке, шаря спиной по корням, и я крикнула «мама!» в кладовке, и я взвизгнула «да!» на диване, и я плакала «nicht!» в берлинской квартире.

---

<sup>1</sup> фр. *avre* – теплый зимой и холодный летом ветер в Люк-ан-Диуа (деп. Дром, Франция).  
Ср. *Эвр*.

И пока я плыву, я в огне, рот мой бормочет блаженную песнь о цветах и названиях: вот горчица – для младенцев, чтоб язык их не был раздвоенным, вот булавочник для девушек с голубыми глазами, чтоб не прятались у них подмышками привидения, вот – иван-да-марья для шоферов-дальнобойщиков, чтоб отличали хрусталь дороги от угля проруби, а это, тебе, моя радость, для жизни невечной – цветок, что растет у меня из гортани, цветок без названья.

А это мак-человек, наш сынок, сорви его с губ моих, мальчик мой, звездочка, скиталец воздушных дорог, питомец небесной слюды, ребеночек мой золотой, солдат безымянный, колышет тебя рожь и вечный огонь горит из твоего живота.

26

мы приземлились на поле, а там шел какой-то праздник. Трепетали флаги, играл оркестр, на зеленой траве стояли столики с угощением и напитками. Некоторые пары танцевали, мелькая длинными пестрыми юбками. Я люблю, когда флаги трещат в ветре, особенно если рядом море или речка. Почему море или речка, не знаю, но без них не так весело, не так раздольно. Флагам нужен простор. Встречи и расставания на весь мир – вот что им нужно.

Николай Федорович оставил самолет на попечение Никиты-механика, и мы пошли к автомобилю. Мы с ним еще не обмолвились словом, как приземлились – он только вскользь заглянул мне в глаза, когда помогал выбраться из кабины. И когда мы подходили к автомобилю, я не выдержала.

– Что это было?

Он смотрит на меня серьезно.

– Не знаю, – говорит он, – как это назвать. Можно сказать, что мы обнаружили себя самих, а можно сказать, что это было путешествие в Золотой век. Но все это звучит глупо. Все эти слова можно обнаружить в армейских анекдотах.

– Все же вы скажите... я никогда ничего подобного...

– Это последняя строчка Данте, – говорит он. В его «Комедии». Но, вообще-то, лучше ничего не надо называть, а все оставить как есть.

Через пять минут мы едем по мосту, с которого вчера вечером я наблюдала, как с моря заходит на посадку самолет.

– Я видела, как вы вчера сажались, – говорю я. – Я тогда еще не знала, что это вы.

– Неужто? – удивляется он.

– Вообще-то, я знала, – говорю, – ваш аэроплан помахал мне крыльями.

– Это он может, – Николай Федорович улыбается.

Он довозит меня до дома, открывает дверцу, я выбираюсь из машины и останавливаюсь в нерешительности.

– У меня немного изменилось расписание, – говорит он и улыбается. – Я еду завтра. Завтра утром.

– Куда? – говорю я.

– На фронт.

– Уже? – Я пока что еще ничего не понимаю, я говорю какие-то слова почти машинально.

– Я вас никогда не забуду, – говорю я. – Я буду вам писать, Николай Федорович.

– Спасибо, – говорит он вежливо и грустно, – ваш адрес я теперь знаю. А адрес моей части я оставлю для вас в гостинице у портье.

– Неужели это все? – говорю я. – Даже не верится. Вы там поосторожней.

– Конечно, – говорит он. И повторяет серьезно, словно что-то вспоминая: меня убить невозможно.

Я протягиваю руку, он склоняет голову по-военному, пожимает мне пальцы в перчатке и залезает в автомобиль. Машина разворачивается и уезжает. У меня нет здесь

«Божественной комедии», но я знаю, что она есть у Маши Белецкой, которая живет недалеко отсюда, немного повыше в гору. Я быстро переодеваюсь и иду к Маше.

В библиотеке я нахожу Данте в переводе на французский. Последняя строчка в книге такая: «Любовь, которая движет солнце и другие звезды». Тут я наконец-то понимаю, что завтра утром Николай Федорович, действительно, уезжает на фронт, и мне становится очень холодно. Так холодно, что у меня начинают стучать зубы.

27

### **стихи механика Никиты**

когда началась война я испугался  
потому что на войне убивают и на этой меня обязательно убьют  
над гостиницей шелестят листья платана и я жду катулла  
катулл из серебра а из чего же еще и из него торчит соха или я что-то путаю  
про катулла мне объяснила одна учительница

он придет и возьмет мою смерть на себя, превратившись в летучую  
мышь или это вергилий она назвала два имени сразу

или не придет и тогда я умру

я подал вчера Ефросинье чай она посмотрела на меня глазами как васильки  
я люблю деревенских девок но она лучше деревенских девок  
хотя наши – самые красивые особенно в соседней деревне  
и некоторые вечером красят губы и пахнет от них свежестью  
и духами а потом они всё смывают когда идут назад но на губах остается  
они ласковые она лучше деревенских девок мама вижу как  
она движется я однажды видел чертеж дирижабля –  
эллипс в эллипсе как представишь все это в небе так темнеет в глазах  
от восхищенья когда я подал ей чай я видел эллипс в эллипсе  
и когда помогал ей забраться на крыло самолета тоже

я думаю о наступившей войне и жду Катулла что может  
взять на себя мою смерть или это Вергилий хорошо бы нас не сразу отправили  
на фронт я читал о смерти у Александра Блока та учительница мне тоже давала  
его стихи и в этот миг в уме прошли все мысли единственные нужные  
это он о разбившемся насмерть жокее я бы не разбился  
на ипподроме я бы удержался и труп мечтательно глядит наверх  
о чем он мечтает я знаю об эллипсе в эллипсе который есть  
только у Ефросиньи они движутся как один прибор в другом  
у нее шелестит юбка а губ она не красит и на ипподроме тоже  
встречаются кони в которых движется в эллипсе эллипс  
на них приятно смотреть но на таких трудно удержаться я пробовал  
но это лучше пули в живот я видел как

конь скачет забирая ноги выбрасывая из себя вытянутый круг дальше чем копыта  
стучит глухо в землю нас всех она ждет но я бы хотел раньше лечь в стог  
с Ефросиньей а вдруг бы она согласилась мама только наверное  
не согласится она влюблена в капитана это сразу видно  
эти барышни всегда в кого-нибудь влюблены а что у нас там в деревне

сестра Евдокима что опился и повесился на Покров все еще что ли в девках  
поди вышла уж замуж железная дорога мама это цивилизация техника  
раз помню вышел из кабака пошел полем на переезд  
хотел замерить скорость состава встал у светофора  
он мчит горит на меня желтым глазом а я так и стою на рельсах  
как в столбняке думаю зачем сходить думаю как цветет мокрая сирень возле плетня  
зачем вообще сходить мама вот что мне было тогда непонятно

а теперь я жду Катулла в этой пустой гостинице под платаном  
а он всё не приходит а может его тоже убили на войне но вряд ли  
мы конечно победим только что толку лучше б мы проиграли  
как говорил один агитатор из Питера рожа у него хитрая гладкая

эллипс в эллипсе мама это главное даже если  
сделать всю механику неба при помощи механизмов и живых зверей  
в апокалипсисе много ангелов их тоже надо учесть  
потому что вселенная мчится на нас как паровоз вот и думаю я  
зачем сходить не отвечай мне мама дождусь катулла на денек заеду

28

я стучу в дверь номера, и он открывает. Он щурит глаза на свет в коридоре.

– Вы? Это вы? Но ведь вы... Вот уж не ожидал, – говорит он растеряно и продолжает щуриться.

– Вы ведь завтра едете, – говорю я, – я зашла проститься. – Сердце мое бьется так, что меня покачивает.

– Входите-входите, – говорит он, распахивая дверь еще шире, и я вхожу. Вот почему он щурился – в комнате совсем темно.

– Я не могу просто так, чтоб вы уехали – говорю я. – Я хочу, чтобы у нас вами все было.

Он смотрит на меня непонимающе. Я иду к почти невидимой кровати и ложусь на нее. Потом, выгнувшись животом вверх, тащу на себя юбку, задираю ее до подбородка, поднимаю колени и раздвигаю ноги – так меня учила Катя Савина, приятельница по гимназии. Она не хотела, чтобы я попала в смешное положение с любимым человеком. Мне тогда показалось, что все это довольно-таки нелепо, но она сказала, слушай, дура, и запоминай! – и я ей поверила. Я ведь не очень большой знаток в любовных делах, хоть и читала Мопассана, а у нее был роман с инженером, вся гимназия болтала. На мне высокие шнурованные ботинки и светлые чулки. Ботинки тяжелые, и ноги долго держать на весу трудно, но я понимаю, что надо терпеть. Николай Федорович подходит ко мне, становится на колени рядом с кроватью, рубашка его белеет. Он берет мою руку и целует ее. Потом мягко опускает мои согнутые ноги на кровать и говорит, любимая моя Ефросинья, радость моя. Мои глаза привыкли к темноте, и теперь я вижу, как комната мигает, должно быть, от портового маяка.

– А почему вы плачете? – спрашиваю я, а сердце продолжает бухать и стучать в груди, и даже в темноте я вижу, как колышется моя грудь.

– Разве? – говорит он. – А я и не заметил. Я не плачу, – добавляет он, что за глупости.

– Нет, вы плачете, – говорю я. – У вас маяк мигает, мне видно.

– Потому что я очень люблю вас, – говорит он непоследовательно.

– Угу, – мычу я, – поэтому пусть все будет.

– У нас все уже есть, – говорит он. – И все было.

– Да, – говорю я, – все было. Но вы же едете на войну. Поэтому я хочу, чтобы у нас все-все было.

– У вас очень красивые ноги, – говорит он. – Такие же красивые, как ваше лицо. А почему вы в таких ботинках?

– Вам не нравятся мои ботинки? Я могу их снять.

– Мне очень нравятся ваши ботинки, – говорит он, и я чувствую, что он говорит правду.

– Я ходила навещать подругу, там круто и тропинка скользкая, потому я их и надела. Поцелуйте меня пожалуйста, Николай Федорович.

29

он лежит рядом со мной. Мое тело проснулось, оно знает, что ему делать, все мне наврала Катя Савина. Я чувствую, что я ракушка, как будто я длинная перламутровая ракушка, а вместо рук у меня воздух этой комнаты и мои губы, и то, как бьется все ровнее и глубже сердце, и вместо рук у меня его руки, и вместо рук у меня маяк за окном и ущелье с бамбуком, его волосы, и вся его благословенная длина – она тоже вместо моих рук и вместо моего сердца и моих ног, и вместо меня. И я закрываю глаза, и вот сейчас, и вот опять полетит самолет, сейчас-сейчас, и запахнет мокрой сиренью от моего любимого, и мое новое тело поднимет нас как ковер-самолет, и я что-то такое бормочу, а потом еще и еще, и я сама не понимаю, что говорю, и красное в глазах, и зеленое, и луна гудит как самолет, и тут раздается грохот и Николай Федорович вскакивает с кровати. Я сажусь и пытаюсь понять, что происходит.

А происходит вот что. Огромная ночная бабочка мечется по комнате, сбивая все на своем пути – шуршит, грохочет, путается в занавесках. Снова вылетает на середину комнаты и с размаха стучается в зеркало.

– Надо ее поймать, – говорю я. Господи, как же я напугалась! – Ловите же, она все у вас перебьет.

– Поймал, – говорит он. – Вот она, смотри, какая огромная.

Он держит ее двумя руками, развернув как письмо, и с темных крыл на меня смотрят два огромных глаза, обведенные белым, и тут мне становится страшно, и я кричу.

Маяк мигал до утра, не помню, что мы такое друг другу говорили, невпопад, бестолково и обнимая друг друга, помню запах его волос и шеи, и только на рассвете мы оба заснули – он в кресле, а я на его кровати. Бабочку мы выпустили, и она слетела в овраг, смутно мелькнув темными крыльями. А в небе было полно звезд, и снизу от речки поднимался холодный туман и шел слабый запах сероводорода.

30

сначала казалось, что он взлетит, что уцелеет, что даже если его и убьют, то обнаружат не обломки самолета, а фигуру человека в военной форме с обгоревшими, что ли, крыльями бабочки за спиной, но он лежал на поле недалеко от леса, рядом с покореженным самолетом и вонял, как воняли в то лето сотни тысяч убитых русских, австрийцев, украинцев и немцев. На третий день его обнаружили пехотинцы и похоронили тут же, рядом с безымянной венгерской дерегушкой, не воздав воинских почестей, не отпев, потому что начиналось отступление, и все очень торопились. Это было в конце августа, как раз те дни, когда штабс-капитан Петр Нестеров впервые применил воздушный таран и погиб в бою.

Говорят, Николай Федорович был сбит, защищая автомобиль Красного креста от двух немецких аэропланов, стрелявших по машине из пулеметов. Очевидцы добавляли также, что немецким асам не удалось ее уничтожить лишь потому, что самолет Николая Федоровича непонятным образом завис в воздухе над фургоном, из которого в это время

санитары выводили и выносили раненых, и так висел какое-то время, прикрывая их своим корпусом с раскрытыми, как руки, крыльями. В результате всех их удалось втащить в случившееся тут убежище в виде пустого дота.

31

такие сведения следует, конечно же, отнести к разряду военных легенд, в которых желаемое часто выдается за действительное, и при этом неважно, описывает ли рассказчик события, случившиеся в ходе наступления или во время бегства. В послевоенные годы такие истории можно было услышать за столиком вокзального ресторана или от главы семьи в канун какой-нибудь фронтовой годовщины. Время от времени их перескажет журналисту впавший от старости в маразм ветеран или упомянет за бутылкой охмелевший патриот. Рассказчики этих эпизодов, вероятно, стремятся дополнить с помощью поэтической выдумки то, что в принципе понять невозможно, потому что, в отличие от поддающихся статистике фактов, на фронте, действительно, случаются странные вещи. Но нужно ли их понимать? Обязательно ли понимать то, из чего состоят войны, вникать в их, так сказать, природу, в их основу, в их, если можно так выразится, суть, вызывающую к жизни события как очевидные, так и непредсказуемые, не укладываемые ни в какую логику? Одно ясно – если мы действительно захотим постичь природу войны и того, что на ней случается и происходит, нам придется вернуться в самое начало

32

и признаться, что начало – это место где еще ничего не случилось, ничего не сказано и ничего не названо. Где формы не возникли, а памяти не существует. И поэтому мы открываем первую страницу и, отказываясь от итоговых смыслов в пользу незнания и неосведомленности (как мы и обещали в 17-й главе), читаем: «В начале сотворил Бог небо и землю...»